

ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАПИСКИ НЕКРАСОВОВЕДА (1902-1921)

ПУБЛИКАЦИЯ Т. С. ЦАРЬКОВОЙ

18 сентября 1983 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского некрасововеда Владислава Евгеньевича Евгеньева-Максимова. Эту дату мы отмечаем завершением публикации автобиографической книги ученого-литературоведа.¹

XII

К октябрю 1913 г., работая очень спешно, я закончил свою вторую книгу о Некрасове, которую назвал "сборником статей и материалов".² Этим осторожным названием мне хотелось подчеркнуть, что книга моя не является работой научно-монографического типа. Тем не менее составлявшие ее статьи, частично уже появлявшиеся в печати, а частично заново написанные, преследовали две совершенно определенные цели: во-первых, осветить наиболее темные периоды биографии Некрасова и, во-вторых, выяснить основы его общественного мирозерцания.

В книге моей есть ряд довольно существенных ошибок, преимущественно методологического характера, но, думается мне, те цели, которые я ставил себе, как ее автор, более или менее достигнуты. Я отнюдь не склонен к преувеличенной оценке своих сил и способностей, тем более преувеличенной оценке того, что вышло из-под моего пера, - и все же после выхода моей книги я чувствовал себя более или менее удовлетворенным.

Рецензии на книгу, появившиеся в тогдашней печати, носили в общем очень благожелательный характер, и это укрепляло меня в убеждении, что на этот раз я не потерпел неудачи. Произошло это в значительной мере потому, что почти все главы книги были если не целиком, то в некоторых своих частях основаны на неизданном материале, главным образом на том, который я получил от А. Ф. Кони. Но не только от него: в одной главе я широко использовал картавовские материалы,³ в другой - свои находки в архиве ярославской гимназии. Наконец глава "Некрасов в роли редактора-издателя "Современника"⁴" основывалась на материалах, предоставленных мне С. Н. Кривенко и Б. Л. Модзалевским. О Кривенко я уже говорил. О Борисе Львовиче Модзалевском скажу сейчас.

Умер он сравнительно недавно,⁴ а вспоминаем мы о нем, к стыду нашему, сравнительно редко. Я не буду говорить о высоком достоинстве его научных трудов - оно общеизвестно и ни с чьей стороны, как кажется, сомнений не вызывает. Мне хочется напомнить о его исключительных заслугах как собирателя историко-литературных материалов. Кто из активных историков литературы нашего времени может обойтись без рукописной сокровищницы ИРЛИ (Пушкинского Дома)? А все ли из черпающих оттуда материалы, без которых их работа остановилась бы на месте, знают, что большинство этих материалов было разыскано, собрано и бережно, иногда в течение многих лет, хранимо Модзалевским?

Среди наших архивных работников, "ученых хранителей", как их одно время называли, не редкость встретить оберегающих порученные им материалы не только от мышей, крыс, но и от "профанов". Понятие "профан" обычно трактуется очень широко; в ряды профанов сплошь да рядом зачисляются и серьезные научные работники, особенно если они "другого прихода". К чести Бориса Львовича следует самым решительным образом подчеркнуть, что он отнюдь не принадлежал к породе таких "архивных Плюшкиных".

Я явился к Борису Львовичу совсем еще молодым человеком, неискушенным ни в разыскании рукописного материала, ни в чтении рукописей. Всегда и неизменно я встречал с его стороны самое внимательное, самое доброжелательное отношение. Как только он убедился, что я подхожу к изучению Некрасова серьезно, он не только очень быстро разыскивал и давал мне для изучения те материалы, которые значились в каталоге, но сплошь да рядом, по собственной уже инициативе, сообщал мне о новых, еще не попавших в каталог приобретениях, представлявших интерес и значение для моей работы. Таким именно образом

мне удалось, например, использовать ценнейшие письма Некрасова к собственнику "Современника" - П. А. Плетневу.

Благодаря неусыпным и неутомимым трудам Бориса Львовича значение учреждения, которого он был душой, все возрастало и возрастало. Борис Львович становился "персоной", но его отношение к нам, как молодым, так и старым научным работникам, отнюдь не менялось. Всегда ровный и любезный в обращении, он радушно приветствовал вас уже на пороге своего кабинета. С ним можно было говорить не об одних научных проблемах; не один раз, внимательно и сочувственно он выслушивал меня, когда я начинал разговор с этим глубоко симпатичным мне человеком на личные темы <...>

Летом 1914 г., накануне выхода моей книги, я предпринял, опять-таки в целях углубления моей некрасововедческой работы, поездку в Саратов, где доживала свои дни престарелая подруга поэта - Зинаида Николаевна Некрасова.⁵

Зная из появлявшихся время от времени репортерских заметок, как труден к ней доступ, я прибегаю к помощи человека, о котором мне говорили, что ему легче, чем кому бы то ни было другому, воздействовать на Зинаиду Николаевну. Это был Иван Степанович Проханов, "председатель ВСЕХ", как значилось на его визитной карточке, т. е. председатель Всероссийского союза евангелических христиан. В качестве члена общины евангелических христиан (баптистов) вдова поэта не только хорошо знала Проханова, но и привыкла видеть в нем высоко авторитетное лицо, просьба которого для нее не могла быть безразлична.

Посетив Проханова, я рассказал ему о своих многолетних занятиях Некрасовым, о затруднениях, которые я встретил при изучении последнего периода его жизни, в частности при изучении его отношений с Зинаидой Николаевной.

"Только Зинаида Николаевна, - говорил я, - могла бы прояснить целый ряд интересующих меня вопросов. А между тем она, по слухам, уклоняется от каких бы то ни было разговоров о своем покойном муже. Ваше слово имеет для нее большое значение. Убедительно прошу Вас воздействовать на нее, чтобы она согласилась поделиться со мной своими воспоминаниями. Не праздное любопытство руководит мною в данном случае, а искреннее желание узнать правду и сделать ее достоянием общества".

"Я понимаю Ваши мотивы, - отвечал Проханов, - и сочувствую им. Все, что могу, - сделаю, но за успех не ручаюсь. "Сестра" Зинаида старательно избегает говорить о прошлом, очевидно, потому, что с этим прошлым у нее связаны тяжелые воспоминания. Во всяком случае, я ей напишу, а когда получу ответ - сообщу Вам".

И, действительно, недели через две Проханов переслал мне адресованное на его имя письмо от Зинаиды Николаевны следующего содержания:

"Многоуважаемый Иван Степанович!

К сожалению, не могу исполнить Вашей просьбы. За последние два года я так много получила писем с желанием мне посочувствовать и поговорить о муже, а главное со мной познакомиться, и это так повлияло мне на нервы, что я до сих пор не могу успокоиться и теперь я избегаю новых знакомств.

Примите мой сердечный привет
Некрасова".

Ответ в достаточной степени неутешительный, но я все же решил попробовать добиться свидания с Зинаидой Николаевной.

28 июня 1914 г. я тщетно звонил у подъезда небольшого, но опрятного домика на Провиантской улице (№ 8), где, как указали мне в редакции "Саратовского вестника", жила вдова Некрасова. Потеряв терпение, я собрался было уходить, как вдруг крайнее оконце

приоткрылось и из него выглянуло благообразное старушечье лицо, хранившее следы былой красоты.

- Прислуги дома нет. Вам кого угодно?

- Я бы хотел повидать Зинаиду Николаевну Некрасову.

- Погодите, я сейчас открою.

Через минуту заповедные двери растворились передо мной. Переступив порог, я никак не мог их за собой закрыть. Моя собеседница, оказавшаяся рослой и бодрой старухой, со словами: "позвольте, я сама", решительно отстранила меня от дверей и сильным движением руки разом их захлопнула. Помню, что я тогда же подивился силе этой, на взгляд уже очень пожилой, женщины. Это и была Зинаида Николаевна Некрасова.

Первое наше свидание было непродолжительно. Я просил Зинаиду Николаевну принять от меня только что вышедшую из печати мою книгу о Некрасове и сообщил, что приехал из Петербурга в Саратов главным образом для того, чтобы увидеться с ней.

- Ваше посещение застигло меня врасплох, - сказала Зинаида Николаевна. - Мне надо обратиться с мыслями, прежде чем говорить с Вами. Да и книжку Вашу хотелось бы посмотреть. Сделаем мы так: приходите ко мне завтра, в 3 часа; тогда и поговорим". На этом мы и порешили.

На другой день, т. е. 29 июня, ровно в 3 часа я был у подъезда домика на Провиантской. Отворила мне снова Зинаида Николаевна. Через небольшую гостиную мы прошли прямо в ее комнату, довольно поместительную, очень светлую и в высшей степени чисто содержимую. В комнате находилась молоденькая девушка, которую Зинаида Николаевна отрекомендовала как свою хорошую знакомую (при начале нашего разговора она присутствовала, а затем вышла). Усевшись и меня пригласив садиться, Зинаида Николаевна начала:

"-- Просмотрела я Вашу книгу. Очень она меня заинтересовала. Рада буду, чем могу, послужить Вам: боюсь только, что ничего особенно ценного о муже Вы от меня не услышите. Ведь Вас больше всего, я думаю, его литературная деятельность, литературные знакомства интересуют. А эта-то сторона его жизни для меня, пока я жила с ним, мепьше всего доступна была. Сошлась я с Николаем Алексеевичем 19-ти лет; молода, неразвита была в то время, многого не понимала, особенно того, что касалось литературной деятельности мужа. Николай Алексеевич любил меня очень, баловал; как куколку держал. Плятья, театры, совместная охота, всяческие удовольствия - вот в чем жизнь моя состояла. Хорошо жилось тогда, потому что молода, ветрена была, а теперь вот глубоко жалею, что не развивал меня Николай Алексеевич. Единственный упрек, который могу к нему предъявить. Ну, да болезнь мужа за него постаралась. Столько пришлось перенести тогда, что в пять-шесть месяцев на несколько лет серьезней и старше стала. Боже! Как он страдал, какие ни с чем несравненные муки испытывал! Сиделка была при нем, студент-медик неотлучно дежурил, да не умели они его перевязывать, не причиняя боли. "Уберите от меня этих палачей!", - не своим голосом кричал муж, едва прикасались они к нему. Все самой приходилось делать. Кишка у него последнее время выпадала: нужно было в прежнее положение ее возвращать. Вправляю я ее, а сама, чтобы поободрить его среди нечеловеческих страданий, веселые песенки напеваю. Душа от жалости разрывается, а сдерживаю себя, пою да пою... Болезнь Николая Алексеевича открыла мне, какие страдания на свете бывают, а смерть его, что он за человек был, показала. Только в день похорон его поняла я, что сделал он для общества, для народа: видя общее сочувствие и внимание, начала задумываться над вопросом: чем он такую любовь заслужил. Припоминаю один случай, как раз накануне его погребения происшедший. В 3 часа ночи слышу, кто-то звонится. Отворяю. - Господин какой-то. "Можно повидать Николая Алексеевича?" Я пустила. Он вошел в залу, где стояло тело, упал на пол и так рыдал, так рыдал (сама плачет)...".

Наступила тягостная пауза. Мне неловко было бередить раскрывшуюся рану, и я молчал. Справившись с волнением, Зинаида Николаевна продолжала: "В каком состоянии я была в то время, никакими словами не расскажешь. Ведь целых два года спокойного сна почти не имела.

После смерти мужа как в тумане, как в полусне каком-то ходила. Пухнуть стала. Доктора меня осматривали, Склифосовский, Белоголовый; думали, что это водянка. А я просто утомлена свыше сил человеческих была.

Да и потом немало тяжелого пришлось перенести. Вот совсем недавно дела такие случились, что если б не помощь Николая Михайловича (Архангельского) - истинно добрый человек! - христовым именем пришлось бы питаться.

Оставил мне муж кой-какие деньги. Жить можно было. Да все раздала. Просят, то один, то другой - как откажешь? И пришло такое время, что хоть умирай с голоду. Моложе была, работала. А теперь вот сил не стало работать - на милостыню живу (плачет) ... а на милостыню так тяжело жить"...

Напрасно старался я уверить ее, что пенсия Литературного фонда не милостыня, а обязательная дань общественной благодарности за сделанное ее мужем. Она стояла на своем...

"Как улитка в свою скорлупу уединилась и живу тихонько... Никого почти не вижу... Бог с ними, с людьми-то. Много мне от них вытерпеть пришлось. Ах, жестокие, жестокие есть люди. Сколько времени прошло, а рана в душе не заживает, нет, не заживает. Только здесь утешение и нахожу"...

И Зинаида Николаевна показала мне объемистую Библию в кожаном переплете с застешками.

- А других книг не читаете? - спросил я.

- Нет, и другая дорогая книга у меня есть.

И Зинаида Николаевна положила на стол том сочинений Некрасова с трогательной надписью: "Милому и единственному моему другу Зине. 12 февр. 1874 г.". В устах сдержанного и замкнутого Некрасова эти слова означали очень многое.

Чтобы помочь Зинаиде Николаевне в ее воспоминаниях (во все время разговора она страшно волновалась), я решил предложить ей вопрос о том, в какой мере доступны были ее мужу религиозные настроения, которыми живет теперь она.

"Не знаю, был ли он религиозным, - отвечала она, - но поступал с ближними как милосердный самарянин⁶ (эти слова были произнесены с особым выражением и значительностью). Да, что бы о нем ни говорили, как бы на него ни клеветали, это на редкость добрый и сердечный человек был. Приедем, бывало, в деревню, на охоту - сейчас же со всех сторон начнут сходить крестьяне: кто горем поделиться, кто радостью, кто совета, кто помощи попросить. Всех-то Николай Алексеевич выслушает, всех обласкает, и помогал нуждающимся щедро. И любили же его крестьяне!.. И в городе доброту свою находил случай проявлять - о сотрудниках своих заботился, деньги по первой просьбе им выдавал. Помню я его споры постоянные с Салтыковым и Елисеевым. Они тоже добрые люди были, а все же иной раз возмущались тем, что муж мой чересчур много выдач разрешает.

- Нет, Николай Алексеевич, - говорили они мужу, - так нельзя нерасчетливо деньги раздавать.

- Да как же не выдать, - возражал он, - когда просят; ведь у каждого свои нужды, потребности: волей-неволей надо в них входить.

И много раз так бывало, это я хорошо помню. Что и говорить - было за что любить Николая Алексеевича, а вот не все любили, далеко не все; много у него врагов было. А больше всего огорчало мужа дурное отношение к нему Тургенева. Ведь они прежде большими друзьями были. Николай Алексеевич однажды рассказал мне, как окончательный разрыв

между ними произошел. "Прислал мне Тургенев для просмотра роман "Отцы и дети" с просьбой высказать о нем свое мнение. Я прочел и ответил: "Вещь хорошая, но рановременно печатать" (последние слова Зинаида Николаевна произнесла с ударением; очевидно, они твердо врезались ей в память). Тургенев ответил мне запиской: "Не забудь ты меня, а я тебя не забуду". С тех пор мы больше не виделись"....".

"Незадолго до смерти Николая Алексеевича, - продолжала Зинаида Николаевна, - суждено им было увидеться. Узнал Тургенев от общих знакомых, что муж неизлечимо болен и пожелал к нему приехать, чтобы помириться. Но нельзя было допустить его к Николаю Алексеевичу, не подготовив, - слишком он слаб и немощен был. Я сама взялась за это дело. Тургенев уже сидел у нас в передней, а я и говорю Николаю Алексеевичу: - Тургенев желал бы тебя повидать. - Пусть приедет, полюбуется, каков я стал, - с горькой усмешкой отвечал муж. Тут надела я на него халатик и перевела из спальни в столовую - сам уж он не мог ходить. Сел он у стола, высасывает сок из бифштекса - ничего твердого ему тогда не давали. Смотреть на него страшно - такой он бледный, худой и изможденный. Я выглянула в окно, сделала вид, будто увидела Тургенева и говорю: "А вот и Тургенев приехал". Через несколько минут Тургенев с цилиндром в руках, бодрый, высокий, представительный, появился в дверях столовой, которая прилегалась у нас к передней. Взглянул на Николая Алексеевича и застыл, пораженный его видом. А у мужа по лицу судорожная судорога прошла: видимо, немоготу ему было бороться с приступом невыразимого душевного волнения. Поднял тонкую исхудалую руку, сделал ею прощальный жест в сторону Тургенева, которым как бы хотел сказать, что не в силах с ним говорить... Тургенев, лицо которого было также искажено от волнения, молча благословил мужа и исчез в дверях. Ни слова не было сказано во время этого свидания, а сколько перечувствовали оба"...

Зинаида Николаевна остановилась, помолчала, а потом раздумчиво произнесла:

"Да, глубоко чувствовать умел Николай Алексеевич. С какой нежностью, например, мать свою вспоминал. "Ангел, ангел она у меня была, - говорил, - все, что есть у меня хорошего, - от нее". А отца не любил: крепостник ведь он был закоренелый. Не удивлялся, что пожар усадьбы в Грешневе был торжеством для окрестных крестьян. Никто из них и ложки воды на огонь не вылил"...

Затем Зинаида Николаевна показала мне несколько фотографических снимков. На портрет покойного мужа она не могла смотреть без слез. Заметив ее волнение и боясь, что мой затянувшийся визит слишком ее утомит, я стал прощаться. В ответ на изъявление мною горячей благодарности за беседу, она сказала: "Я уж и сама не знаю, как это вышло, что я с Вами разговорилась. Ведь Вы единственный, с кем я о муже так подробно говорила. А все-таки многого еще не сказала. Не соберешься ведь так скоро с мыслями". Я начал убеждать Зинаиду Николаевну продиктовать кому-либо свои воспоминания и сообщил ей некоторые соображения о том, как можно бы организовать это дело. Зинаида Николаевна, по-видимому, соглашалась со мною. "Я понимаю, - говорила она, - что я обязана это сделать; в этом мой долг перед почитателями мужа. Постараюсь исполнить Ваше желание".

На этом наша беседа и закончилась.

Заручившись обещанием редактора "Саратовского вестника" Н. М. Архангельского содействовать записи воспоминаний Зинаиды Николаевны, я уехал из Саратова, убежденный, что разговор ее со мною открывает собой как бы первую главу ее мемуаров. Судьба судила иначе. Хотя Н. М. Архангельский и пытался, посещая время от времени Зинаиду Николаевну, наводить ее на воспоминания о муже, однако эти попытки не дали желаемого результата, так как Зинаида Николаевна приходила в такое волнение, что продолжать разговор не было никакой возможности. Следовательно, то немногое, что она сказала мне, приобретает особое значение как единственное свидетельство об умершем поэте столь близкого ему человека, как его жена. И человека к тому же незаурядного. Я обеими руками готов подписаться под следующим определением ее духовного облика, данным хорошо знавшим ее Н. М. Архангельским: "У нее был ясный ум и чистая, глубоко верующая душа. Нас с нею, конечно, разделяли взгляды на многое, но меня к ней влекла именно эта кристально чистая душа и какая-то особая цельность, говорившая о большой моральной силе".⁷

Через какие-нибудь полгода после моего свидания с Зинаидой Николаевной она закрыла свои "утомленные очи" и уснула, но не для того, чтобы отдохнуть (см. в стихотворении Некрасова: "Зина, закрой утомленные очи! Зина, усни!"), а для того, чтобы никогда уже не просыпаться.

Во время моего пребывания в Саратове в июне 1914 г. я не мог отказать себе в удовольствии повидать и Ольгу Сократовну Чернышевскую.

Когда я вошел по старенькому крыльцу в дом Чернышевских, расположенный недалеко от Волги, вблизи самолетской пристани, и меня провели в комнату Ольги Сократовны, меня встретила сравнительно бодрая старушка, с живыми, выразительными глазами, с чертами лица, не утратившими былой привлекательности. Я не буду передавать здесь тех благоговейных отзывов о Николае Гавриловиче, воспоминаниями о котором до сих пор, несмотря на двадцатилетнюю давность, живет Ольга Сократовна, перескажу только в двух словах ее суждение об отношениях Чернышевского и Некрасова, вызванное тем, что я преподнес Ольге Сократовне свою только что вышедшую книгу о поэте.

"Стара теперь, слаба стала, - говорила мне Ольга Сократовна, - многое позабыла, а вот Николая Алексеевича хорошо помню. Бывал ведь он у нас часто, потому что дружил с покойным мужем. И Николай Гаврилович был очень к нему привязан, не только любил, но и уважал. Нечего и говорить о том, что Некрасов вполне заслуживал такое отношение к себе. Сколько небывших о нем сложили, сколько клевет распустили, а между тем он был простой и добрый человек. Да, простой и добрый... Много добра делал и бедным литераторам, и студентам. И заметьте, не любил об этом говорить. Мало того, требовал, чтобы и другие не говорили, в особенности те, кому помогал. Николай Гаврилович всегда о нем с неизменной симпатией отзывался. Единственно, чем бывал недоволен, так это некоторыми сторонами в отношениях Некрасова к Авдотье Яковлевне Панаевой. Ведь, и она у нас свой человек была, сына моего Михаила Николаевича крестила... С своей стороны, могу сказать, что Некрасов оправдал и впоследствии доверие Николая Гавриловича: если бы не его помощь, мне бы с детьми после ссылки мужа буквально не на что жить было. И жена его, Зинаида Николаевна, ведь она здесь у нас в Саратове живет, добрая, хорошая женщина. Лично я с нею не знакома, а от людей слыхала, что она, пока еще водились деньги, оставленные ей мужем, много добра делала, многим помогала"...

Приятное впечатление от свидания с Ольгой Сократовной было несколько омрачено сознанием, что обстановка, в которой она доживает свои дни, не удовлетворяет даже элементарным требованиям чистоты и гигиены.

Вернувшись уже осенью 1914 г. в Петербург, я счел своим долгом побывать у Михаила Николаевича Чернышевского и осведомить его о том, в каких условиях живет его мать. Михаил Николаевич дал понять мне, что если кто виноват в создавшемся положении вещей, то сама Ольга Сократовна. Думаю, что он имел достаточные основания ставить вопрос таким именно образом: характер Ольги Сократовны всегда был тяжел, а под старость, по-видимому, стал невыносимо тяжел. Тем не менее раздражение, звучавшее в голосе сына, когда он говорил о своей восьмидесятилетней матери, несколько озадачило меня. С другой стороны, я ощущал, несмотря на то что Михаил Николаевич в отношении меня держался вполне корректно, что мой приход и содержание моего сообщения для него не слишком приятны. Естественно, при таких условиях, что визит не мог быть продолжителен.

Через несколько дней после моего разговора с ним на страницах "Речи" и "Современного слова" (1914 г., от 17 октября) появилась моя статья "На родине Н. Г. Чернышевского".⁸ Хотя от начала до конца она была проникнута теми чувствами любви, уважения, более того - благоговения, которые я питал и поныне питаю к автору "Что делать?", однако в ней содержалось мимоходом брошенное упоминание о том, что часовня на могиле Николая Гавриловича ни в малой степени не напоминает того памятника, какой хотелось бы видеть над местом последнего успокоения деятеля такого масштаба, как он. Это мимолетное упоминание возбудило такой гнев Михаила Николаевича, что он обрушился на меня в газете "День" (1914 г., No 302),⁹ в особом "письме в редакцию", в котором запальчиво упрекал меня в том, что, не похвалив часовни, я тем самым кровно обидел соорудивших ее родственников Чернышевского.

Существо спора, как видит читатель, не заключало в себе ничего серьезного. О нем, пожалуй, не следовало бы и упоминать, если бы Михаил Николаевич не закончил своего письма раскрытием моего литературного псевдонима. "И вот теперь, - писал он, - я могу спросить г. Евгеньева: заслужили ли упреки Максимова мы, родные и близкие Чернышевского?". Я был прямо-таки поражен этою выходкою. Мне и в голову не приходило, что сын Чернышевского, хотя бы под влиянием сильного раздражения, мог пойти на подобное нарушение литературных приличий. Тотчас же я письменно обратился к Михаилу Николаевичу за объяснениями, но на письмо мое так и не получил ответа. Да и что, в сущности, он мог ответить?..

Мне грустно упоминать об этом инциденте, но "из песни", как говорится, "слова не выкинешь".

XIII

Налетевшая с осени 1914 г. военная гроза затруднила, но не оборвала моей Некрасоведческой работы.

Затруднила прежде всего психологически. Для научных изысканий требуется в известной мере спокойствие душевное, а о каком спокойствии душевном можно было говорить, когда телеграф изо дня в день приносил потрясающие известия о наших военных неудачах, о гекатомбах жертв. С другой стороны, непрекращавшийся рост цен на предметы первой необходимости требовал повышения заработка и непрерывных забот о куске хлеба насущного. Без этого немыслимо было обеспечить сколько-нибудь сносное существование как для себя, так и для семьи. Наконец, журналы и газеты в своем большинстве в такой мере заполнялись материалом, самым непосредственным образом относящимся к войне, что потребность в статьях литературного и тем более историко-литературного содержания заметным образом снизилась.

И все же Некрасова я не бросил. Более того, изучение его поэзии стало казаться мне имеющим еще более актуальное значение, ибо основным героем этой поэзии являлся великий русский народ. А о великом русском народе, его исторических судьбах, его настоящем, его будущем нельзя было не задумываться с особою напряженностью именно в эти годы. На чьи ведь плечи упала страшная тяжесть войны? Чья кровь кровавым потоком лилась и в мазурских болотах, и в августовских лесах,¹⁰ и на плоских берегах Вислы, и на галицийских равнинах, и на отрогах Карпат, как не его кровь? И не было конца краю этому страшному потоку. Нельзя было не вспомнить и при случае не цитировать хотя бы этих, как бы нарочито писанных стихов Некрасова:

Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца.¹¹

Мучительно хотелось, чтобы военная страда, вскрывшая всю гниль и грязь самодержавного режима, привела к событиям, которые сняли бы с народного чела "терновый венец". Верилось с каждым месяцем все крепче и сильнее в неизбежность этих событий, в неизбежность революционной бури. Но ведь поэзия Некрасова в основном как раз и была призывом к этой буре:

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу народного горя
Всю расплеши.....¹²

Несколько раз брался я за перо, чтобы в особой статье высказать волновавшие меня мысли и чувства. Но не один и не два раза откладывал перо в сторону, сознавая, что подобного рода статья окажется решительно неприемлемой для военной цензуры. Наконец, мне удалось "высидеть", буквально "высидеть", статью "Некрасов и современные настроения". Я отдал ее в

миролюбивский "Ежемесячный журнал", где она и была напечатана весной 1915 г. ("Ежемесячный журнал", 1915 г. No 3). Но увы! в печати я не узнал ее. Наряду с редакторской правкой, имевшей целью смягчить остроту моих высказываний, по ней прошелся красный карандаш военного цензора.

Вот какой вид принял, например, абзац, содержащий руководящие суждения статьи:

"Любовь к народу, вера в него, бьющие ключом в поэзии Некрасова, помогли ему установить глубоко продуманное и единственное, на мой взгляд, правильное отношение к событиям, подобным тем, которые мы переживаем теперь.

Под впечатлением военной грозы его сердце так же, как и наши сердца, содрогалось от ужаса.
..... разве с наших уст, как и с его не срывались полные тоски и отчаянья вопросы:

О любовь! где все твои усилья?
Разум! где плоды твоих трудов?
.....
....."¹³

Одним словом, и мой текст и некрасовские стихи подвергались такой цензурной кастрации, которая изуродовала и исказила смысл статьи до крайних пределов.

Естественно, при таких условиях, что у меня в конце концов пропала охота писать на "современные темы", связывая Некрасова с современностью.

Оставалась старая привычная работа - собирание неизданных материалов.

Если в 1913--1914 гг. мои усилия были направлены главным образом на изучение "петербургского архива" Некрасова и на тщетные попытки добиться доступа к "карабихскому архиву" его, то в 1915--1916 гг. преимущественное внимание я уделял разысканию и обследованию материалов, относящихся к журнальной деятельности Николая Алексеевича.

Давно уже для меня стало ясно, что журнальная деятельность играла огромную роль при формировании не только его личности, не только его мировоззрения, но и его поэтического метода. Всестороннее прояснение облика Некрасова-человека и Некрасова-поэта представлялось мне совершенно невозможным без прояснения облика Некрасова-журналиста. О журнальной деятельности Некрасова в то давнее время, о котором я говорю, было известно очень мало. Правда, был уже опубликован ряд воспоминаний о ней, как сочувственных, так и несочувственных, но воспоминания всегда представлялись мне, да и теперь представляются, слишком мутным, в силу своей субъективности, источником, чтобы на основании их одних можно было строить изучение той или иной научной проблемы. Документальный материал, по моему глубококому убеждению, несравненно более пригоден для этой цели. Если только он есть, конечно.

И вот я принялся за собирание документов, характеризующих Некрасова как журналиста. Прежде всего я сделал все от меня зависящее, чтобы разыскать архивы некрасовских журналов - "Современника" и "Отечественных записок". Затем я стал добиваться разрешения на занятия в архивах цензурного ведомства, где я надеялся найти материалы для цензурной истории тех же журналов.

Должен признаться, что мои усилия если и не сопровождались абсолютным успехом, то во всяком случае не остались и бесплодными.

Найти архив "Отечественных записок" мне так-таки и не удалось; не удалось по той простой причине, что он, как кажется, уже не существовал к тому времени, когда я начал свои поиски.

Я побывал в доме Краевского (на углу Литейного и Бассейной ул., ныне пр. Володарского и ул. Некрасова),¹⁴ был принят наследниками его, занимавшими ту самую квартиру, которую когда-то занимал он. Я видел то место, на котором когда-то стоял объемистый шкаф, заполненный конторскими книгами и пачками денежных и иных документов по "Отечественным запискам" и "Голосу", но этим и ограничились мои достижения. Ни самого шкафа, ни того ценнейшего материала, который в нем хранился, я так и не нашел.

О. Фейгина, одна из наследниц Краевского, по моей усиленной просьбе приложила особые старания к розыску архива "Отечественных записок", но, увы, безуспешно, как я убедился из следующей записки, присланной ею мне:

"10-го декабря.

Милостивый государь Владислав Евгеньевич,

Мой управляющий произвел тщательные розыски, к сожалению, они не привели к желаемому результату.

Ничего, касающегося "Отечественных записок" (конторские книги, записи и т. д.) не оказалось.

Очень жалею, что не могла быть Вам полезна. О. Фейгина".

Помню, что во время моих бесед с О. Фейгиной и старыми служащими ее дома, кто-то из них обронил фразу: "Уж не отослали ли все эти бумаги на бумажную фабрику? Никто ведь и не думал, что они кому-нибудь понадобятся".

В этом предположении, думается мне, нет ничего невероятного, причем уничтожение архива "Отечественных записок" могло быть результатом не только непонимания ценности его, но и нежелания оставлять в неприкосновенности документы, подтверждающие ту систему эксплуатации сотрудников, которую из года в год практиковал прижимистый редактор-издатель этого журнала (А. А. Краевский. - *Т. Ц.*), не делая исключения даже для сотрудников такого масштаба, как Виссарион Григорьевич Белинский.

Несравненно более удачными были мои поиски архива "Современника". В течение последних десяти лет существования этого журнала его конторой, т. е. всей хозяйственной частью, заведовал, как уже упоминалось выше, двоюродный брат Ивана Ивановича Панаева и близкий друг Некрасова Ипполит Александрович Панаев. Застать его в живых мне, к сожалению, уже не пришлось, но, ознакомившись с содержанием его статьи ("Новое время"),¹⁵ разоблачавшей с помощью документального и цифрового материала клеветнические обвинения Некрасова Н. В. Успенским в денежной нечистоплотности, - я пришел к убеждению, что он тщательно берег конторские книги "Современника".

Не сохранились ли они у его наследников? - вот вопрос, который встал передо мной.

Вскоре я выяснил, что живы еще и сын Ипполита Александровича Александр Ипполитович Панаев, и дочь его Ольга Ипполитовна Гильдебрандт. Первый занимал какое-то довольно видное место в Министерстве иностранных дел, вторая, вдова, проживала в родительском доме в Павловске (ныне Слуцке).¹⁶ Мне посоветовали обратиться к Александру Ипполитовичу и Ольге Ипполитовне не непосредственно, а через посредство очень близкого им юноши А. Н. Макарова. Макаров, тогда еще студент университета, отнесся к моей просьбе с чрезвычайным вниманием. Ему я обязан не только знакомством с Александром Ипполитовичем и Ольгой Ипполитовной, но, надо думать, тою исключительной любезностью, с которой они приняли меня, совершенно незнакомого им человека.

А. И. Панаев, беседа со мной, поделился, между прочим, воспоминаниями о частых спорах своего отца с Некрасовым. Ипполит Александрович, по его словам, чрезвычайно близко принимал к сердцу всякие слухи и сплетни, порочившие доброе имя Некрасова, и горячо убеждал последнего не оставлять их без опровержений. В особенности возмущался Ипполит Александрович обвинениями в денежной недобросовестности, в обсчитывании сотрудников.

"Если ты сам не хочешь выступить, - говаривал Ипполит Александрович поэту, волнуясь, кипятясь, нервно бегая по комнате, - то поручи это дело мне! У меня ведь каждая копейка, выданная из кассы журнала, записана. Достаточно огласить эти записи, и все увидят, как щедро оплачивал "Современник" своих сотрудников".

Однако Некрасов неизменно отклонял все просьбы и настояния Ипполита Александровича. "Брось, Политушка, - возражал он своему собеседнику,-- стоит ли так волноваться" - и повторял слова своего же стихотворения:

Как умрем,--
Кто-нибудь и об нас проболтается
Добрый словцом...".¹⁷

Канторские книги "Современника" и еще кой-какие материалы, воссоздававшие картину ведения журнального хозяйства, в частности денежных взаимоотношений с сотрудниками, были найдены довольно быстро. Засев за их разработку, я к весне 1915 г. окончил большую насыщенную цифрами статью ""Практичность" Некрасова в освещении цифровых и документальных данных", статью, как мне кажется, раз навсегда покончившую с легендой о прижимистости Некрасова, о его эксплуататорских замашках. Статья эта была напечатана в апрельском номере (1915 г.) "Вестника Европы".

В процессе работы над нею я не мог не прийти к заключению, что предоставленные мне наследниками Панаева материалы являются только частью, хотя и очень ценною, архива канторы "Современника". Прийдя же к этому заключению, я стал убеждать А. Н. Макарова поискать остальную часть архива. Макаров, занятый сдачей государственных экзаменов, несколько задержал исполнение моей просьбы. Но в конце концов все же исполнил ее. Результаты получились блестящие, как я убедился из нижеследующего письма Макарова:

"Павловск, 16 Августа 1916 г.

Многоуважаемый Владислав Евгеньевич,

Спешу поделиться с Вами известием о весьма приятной находке, на которую мне посчастливилось напасть вчера при разборке вновь обнаруженной связки бумаг покойного Ипполита Александровича. В этой связке оказались письма Некрасова к Ипполиту Александровичу, письма и записки Чернышевского, Добролюбова, Авдотьи Яковлевны Панаевой и целый ряд других писем, имеющих касательство к хозяйственной стороне "Современника". Ольга Ипполитовна и Александр Ипполитович выразили готовность передать всю эту связку бумаг и писем в Пушкинский Дом, о чем я в ближайшем будущем извещу Б. Л. Модзалевского. Если же Вам почему-нибудь удобнее было бы ознакомиться с этими документами до передачи их в Академию наук, то они в Павловске к Вашим услугам...

Преданный Вам А. Макаров".

Я, разумеется, не стал откладывать своего ознакомления с "находкой" Макарова, в которой, действительно, содержались очень ценные вещи. А затем и эта "находка" и все прочие материалы канторского архива "Современника" были переданы их владельцами в Пушкинский Дом, где и по сей час усердно изучаются всеми исследователями, интересующимися "Современником", его блестящим штабом и его сотрудниками, среди которых мы находим почти всех наиболее выдающихся русских писателей 1850--1860-х годов, не говоря уже о deos minores¹⁸ тогдашнего литературного Олимпа. Что касается меня лично, то обследование архива канторы "Современника" дало мне возможность сильно продвинуть вперед изучение

журнальной деятельности Некрасова и существенным образом облегчило работу над трехтомной монографией моей по истории некрасовского "Современника", в особенности над второю ("Современник" при Чернышевском и Добролюбове", 1936 г.) и третью ("Последние годы "Современника") ее частями.

Как ни интересен архив конторы "Современника", но архив редакции этого журнала представлял бы еще больший интерес. Мне не удалось, несмотря на все мои усилия, найти путей к его разысканию. Несколько лет тому назад до меня дошли смутные слухи, что он долгое время хранился в сундуке под полом какого-то сарая в Коломьягах, но теперь на месте этого сарая уже ничего нет, и где был расположен сарай, никто не знает.

Одновременно с разысканием и изучением архива конторы "Современника" я усиленно работал в архивах цензурного ведомства.

Доступ в архив Министерства народного просвещения, где хранились цензурные дела до начала 60-х годов, т. е. до перехода цензуры в Министерство внутренних дел, получить было сравнительно нетрудно. Обстановка для работы в этом архиве, если не считать ряда внешних неудобств, проистекавших от тесноты и непригодности помещения, в общем была довольно благоприятная. Заведующий Архивом Александр Сергеевич Николаев, правда, не отличался особой любезностью, но и не донимал излишними стеснениями.

Только в 1916 г. он поразил однажды меня и всех работавших в архиве поступком сугубо подхалимского характера.

Середина дня. В маленьком помещении архива мертвая тишина. Только и слышится, что шелест переворачиваемой бумаги и скрип перьев. Вдруг раскрывается дверь, и в комнату буквально влетает Николаев. Всегда медлительный и важный, теперь он весь в движении.

"Господа, - раздается его свистящий, нервный шепот, - прошу Вас немедленно встать!"

Общее изумление. Все подняли головы и недоуменно воззрились на Николаева.

- Господа, кто не встает, тот будет лишен права работать в архиве!

Мы, не теряя своего изумленного вида, начинаем приподыматься.

Раздаются чьи-то медленные шаги за дверью. Николаев судорожно метнулся к двери, широко раскрыл ее и застыл около нее, согнувшись вперегиб, в позе неизреченного подобоострастия.

В дверях показался невзрачный старик в форменном вицмундире со звездой, - только что назначенный на пост министра народного просвещения Кульчицкий.

"Ваше высокопревосходительство! - уже не свистящим шепотом, а звучным проникновенным голосом заговорил Николаев, - я и собравшиеся здесь деятели русской науки (жест в нашу сторону) считаем своим долгом приветствовать Вас на посту министра народного просвещения. Ваше имя известно каждому русскому как имя мужественного борца за священные устои нашей государственности - православие, самодержавие, народность! Благодаря Вашему твердому руководству эти начала восторжествуют и в учебном ведомстве, к радости всех истинных патриотов, на страх и погибель крамольников".

Старик вяло промямлил: "Благодарю" и пустился в обратное плавание; мы остались стоять, как оплеванные...

Свежо предание, а верится с трудом?

Несравненно труднее было получить доступ к цензурным делам Министерства внутренних дел. Министерство народного просвещения ведь уже перестало быть цензурным ведомством, и об его цензурном прошлом вспоминали только в архиве. Министерство же внутренних дел, в лице Главного управления по делам печати и подчиненных ему Комитетов по делам печати, - в 1915--1916 гг. ведало цензурными делами на тех же почти основаниях, как и пятьдесят лет тому назад. Цензурный архив Министерства считался особо секретным архивом. Если мне и удалось проникнуть в это заповеданное святилище, то благодаря чисто случайному обстоятельству.

Новый начальник Главного управления по делам печати Власий Тимофеевич Судейкин встречался в свое время с моим отцом, и отцу случалось оказать ему какую-то услугу. Вот почему, когда я явился в приемную Главного управления и, получив "аудиенцию" у Судейкина, назвал себя, он принял меня хотя и величественно, но любезно. Впрочем, услышав, что я добиваюсь разрешения работать в цензурном архиве, несколько умерил свою любезность.

- Трудно, очень трудно исполнить мне Вашу просьбу. Ведь наш архив секретный. Не было еще прецедентов, чтобы к изучению его допускались посторонние.

Однако в тоне, которым были произнесены эти слова, категорического отказа не звучало. Учтя это, я удвоил свои настояния и в конце концов добился некоего полуобещания.

- Приходите через три дня - может быть, что-нибудь и выйдет.

А через три дня Судейкин заявил мне: "Я разрешу Вам заниматься в архиве, если Вы дадите подписку, что ни одной строчки из предоставленных Вам для ознакомления материалов не опубликуете и ни одной из сделанных Вами выписок не унесете с собой, не показав предварительно мне".

Я был совершенно ошарашен этими требованиями. В самом деле, какой был смысл просиживать целые дни в архиве с гнетущим сознанием, что плодами своей работы все равно не удастся воспользоваться?! Не проще ли подняться и уйти, уйти демонстративно, чтобы проклятый "Власий"¹⁹ почувствовал, что я не позволю сделать из себя дурака. Я даже привстал, собираясь откланяться, но в последний момент на меня нашли колебания: "Попытка не пытка, лишь бы получить доступ к цензурным делам, а там видно будет"... И я ответил "Власию", что условия его, хотя и очень стеснительные, принимаю.

Вскоре я убедился, что решение мое было вполне правильно. Черт оказался не таким страшным, как его малюют. В своей работе я преимущественно ограничивался только просмотром цензурных дел и не делал из них никаких выписок, отмечал в своем блокноте наиболее интересовавшие меня страницы. В то же время приглядывался к окружающему меня чиновничьему миру в надежде найти человечка, который мог быть мне полезен.

Впечатления в общем были не слишком утешительными. Цензорско-полицейский характер учреждения не мог не наложить отпечатка и на его служащих. Преобладали заскорузлые бюрократы, сплошь реакционно настроенные. Когда они принимались говорить о политике, то хоть уши затыкай: все вариации на темы бессмертных щедринских наук - "патриотистики" и "монархомании".

Больше надежд возбуждала группа новонабранных служащих (мобилизация несколько разрядила основной состав Главного управления по делам печати), среди которых было несколько барышень-машинисток.

Нередко бывало, что, увлеченный работой, я засиживался в архиве и уходил почти что последним. Не один раз я замечал при этом, что одна худенькая, бледенькая машинистка остается в Управлении и после моего ухода, буквально не давая себе передышки в работе.

- Как Вы не боитесь устать? - как-то спросил я ее, когда кроме нас двоих и сторожа в Управлении уже никого не было.

- Что делать, - вздохнула она, - жалование нам платят маленькое, а цены, сами знаете, все растут и растут. Вот и надо прирабатывать.

- Но ведь здоровье свое в конец расстроите.

- Когда еще расстрою, а вот у мамы моей оно уже в конец расстроено. Доктор прописал "усиленное питание", а на это нужны деньги и деньги. Бедная моя мамочка!

На глазах моей собеседницы появились прозрачные слезинки.

- А если я Вам буду давать работу, Вы возьмете ее?

- С радостью!..

- Скопируйте из этого дела все страницы, в которых лежат закладки. Только устраивайтесь так, чтобы начальство обо всем этом не узнало.

- Не узнает - твердо заявила она.

И, действительно, начальство ничего не узнало...

Все наладилось как нельзя лучше. Мапшничка моя была в восторге от хорошего заработка (я платил ей вдвое), мама ее, получая "усиленное питание", стала поправляться. А я чувствовал себя буквально на седьмом небе: темпы моей работы благодаря помощи машинистки заметно повысились.

- Что же Вы его высокопревосходительству своих "выписок" на просмотр не приносите? - спросил меня однажды секретарь Власия.

- Да я их вовсе и не делаю, ограничиваюсь пока ознакомлением с делами.

Рассказывая все это, я, пожалуй что, навлеку на себя со стороны чересчур ригористически настроенных читателей обвинение в хитрости и обмане. Однако мне есть что сказать в свое оправдание.

Первое: "с волками жить - по волчьему выть".

Второе: поставленное мне условие я выполнил - ничего не опубликовал из найденного мною в Главном управлении материала... - по крайней мере, до тех пор, пока существовало самое Главное управление. Ждать же того времени, когда это недоброй памяти учреждение прекратило свое существование, мне, к счастью, пришлось недолго.

Любопытный штришок: осенью 1916 г. Судейкин, чувствуя, как трещит старый режим, призвал меня в свой кабинет, стал расспрашивать о моих литературных знакомствах и закончил разговор таким, заставившим меня подскочить на стуле от удивления, предложением:

- Я знаю Вы - либерал, может быть, даже радикал, но Вы любите свою родину. Поступайте ко мне театральным цензором. Освободилась вакансия, и я хочу найти такого цензора, который бы сумел вести примирительную линию. В годы войн и народных бедствий власть и общество должны забыть прошлые несогласия и жить мирно. Надеюсь, Вы не откажитесь от моего предложения?

Если бы это последнее исходило не от Власия, то я счел бы себя оскорбленным, но Власий славился своею ограниченностью: обижаться на него не стоило.

- Знаете что, Ваше превосходительство, - отвечал я, - если бы я уже был Вашим служащим, то и в таком случае поторопился бы уйти от Вас.

- Как! Почему?

- По той же причине, по которой крысы бегут с тонущего корабля. А Ваш корабль тонет...

Я мог говорить с Власием так смело и откровенно и потому, что обреченность старого режима чувствовалась всеми, и потому, что моя работа в архиве Главного управления была уже почти закончена. Светлоглазая машинисточка переписала мне несчетное количество архивного материала, и объемистые папки со сделанными ею машинными копиями хранились в надежном месте. Просматривая эти папки, я чувствовал себя "богачом", и не без основания. Настолько обильна была жатва, собранная мной в архиве Главного управления, что и поныне мною использован еще не весь добытый тогда материал.

XIV

К осени 1916 г. относится ряд моих посещений семинара по Некрасову, организованного на Высших женских курсах (Бестужевских) молодым, пользовавшимся широкою популярностью (увы, теперь он уже не молод, но популярность его еще более возросла) профессором Николаем Кириаковичем Пиксановым.

Едва ли я ошибусь, если скажу, что это был первый вузовский семинар по Некрасову. Самый факт его существования представлялся мне (и думаю, не без основания) весьма значительным: я видел в нем не только симптом возросшего интереса к поэту среди широких кругов русской общественности, но и симптом того, что академические круги, в лице хотя бы некоторых своих представителей, изменили к нему свое пренебрежительно-отрицательное отношение. Давно ли Шляпкин и слышать не хотел о дипломном сочинении, посвященном Некрасову,²⁰ а теперь, употребляя выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина, "вот какой, с божьей помощью, поворот" - специальные семинары по Некрасову организуются!

Затем, привлечение меня к участию в занятиях семинара, на ролях своего рода консультанта, воспринималось мною как событие очень и очень небезразличное в моральном и психологическом отношениях. Я рассматривал это привлечение как признание некоторых моих заслуг в деле изучения Некрасова. По милости Шляпкина, высшая школа захлопнула передо мною свои двери, оставлен при университете для подготовки к научному званию я так и не был, а профессор Пиксанов, молодой и передовой ученый, сам приглашает меня участвовать в работе своего семинара!

Теперь несколько слов о самом семинаре: он был очень многочислен по количеству участниц и, как всегда бывает с большими семинарами, разнороден по своему составу: одна часть входивших в него курсисток была достаточно подготовлена к семинарской работе, другую составляли наивные девушки-провинциалки, которые при всем своем желании многого дать не могли. Но работать хотели все и работали, надо им отдать справедливость, очень добросовестно.

Руководитель семинара поразил меня исключительно умелым подходом к делу: ему удавалось сочетать неизменно серьезное отношение к работе с истинно товарищеской манерой держаться. Никакой фамильярности, но в то же время полная готовность просто, откровенно, иногда даже с суровой прямоотой произнести свой суд, сказать свое веское, обоснованное слово по поводу того или другого доклада. А суждения Николая Кириаковича всегда были вескими и обоснованными. Он, разумеется, не был "специалистом по Некрасову" и постоянно подчеркивал это, но с тем большею тщательностью готовился к каждому занятию семинара и прорабатываемый на семинаре материал знал превосходно.

В 1916 г. мне было 33 года - возраст, когда обычно перестают учиться. Однако, присутствуя на занятиях семинара Пиксанова, я не без удовольствия сознавал себя в положении учащегося, и учащегося не без пользы. Конечно, не некрасововедению я, проработавший уже целых 15 лет над Некрасовым, учился; я учился тому, как следует вести вузовскую, в частности семинарскую, работу. Эта наука впоследствии мне очень и очень пригодилась, и я никогда не перестану быть благодарным за нее Пиксанову.

Как опытный и заботливый садовник выращивает растения, так и Николай Кириакович, упорно работая, не жалея сил и времени, выращивал молодых некрасоведов, среди которых назову Е. В. Базилевскую, С. Тер-Микельян, В. Дернову. Базилевская интересовалась вопросами творческой истории поэмы "Кому на Руси жить хорошо". Тер-Микельян и Дернова тяготели к работам библиографического типа, точно так же как и Гобов, студент Психоневрологического института, также получивший закалку в школе Н. К. Пиксанова.

Мое участие в работе семинара, как я уже сказал, было консультативное; я был как бы присяжным оппонентом на всех докладах, на которых мне доводилось присутствовать. Высказывался я, подобно Н. К. Пиксанову, прямо и откровенно, но энтузиазм, с которым участницы семинара отдавались изучению моего любимого поэта, был настолько мне приятен, что я тщательно выбирал выражения, чтобы моя критика не действовала обескураживающе, не производила впечатления ушата холодной воды. А кроме того, я считал своей обязанностью, наряду с недостатками докладов, указывать и разъяснять их достоинства.

Характер ли моих выступлений сыграл здесь свою роль или же те "добрые слова", которые на занятиях семинара говорил иногда по моему адресу Н. К. Пиксанов, но только юные участницы семинара проявляли ко мне очень сочувственное отношение. Несколько раз они конфузили меня своими аплодисментами. Нередко писали мне письма, полные доверия и симпатии.

Вот письмо Александры К. (от 4 ноября 1916 г.). В нем его юный автор, должно быть, наивная и увлекающаяся провинциалочка, в столь превыспренных, хотя и сердечных, выражениях благодарит меня за сочувственный отзыв о ее реферате, а под конец раздражается таким восторженным дифирамбом в честь меня самого, что по прочтении ее письма я чувствовал себя повергнутым в великое смущение.

Вот письмо Зинаиды Ф. от 28 февраля 1917 г., петербуржанки, развитой и сложившейся интеллектуально девушки. Ее обуревают сомнения, способна ли она к литературной работе. Посылая мне свой доклад о Некрасове, которого любит глубоко и искренно, она просит меня разрешить ее сомнения и дает обещание поступить именно так, как я посоветую.

Сколько у меня таких писем и от участниц семинара Пиксанова, и от участников и участниц моих собственных семинаров!

Я берегу эти письма и подчас - в особенности, когда взгрустнется, - по несколько раз их перечитываю.

Кто-то назвал детей "цветами жизни". Мне кажется, что это изречение нуждается в некоторой поправке: дети - это цветы, но нераспустившиеся, скорее бутоны, чем цветы; истинными же "цветами жизни" являются юноши и девушки.

Говоря о юношах и девушках, я, связанный многими годами с педагогической работой сначала в старших классах среднеучебных заведений, затем в вузах, имею в виду прежде всего учащиеся юношей и девушек, учащуюся молодежь. Отличная у нас учащаяся молодежь! Умная, способная, работающая, пылкая и самоотверженная!

Поскольку речь идет о молодежи наших дней, - тут и спору быть не может. Но и в дореволюционные времена учащаяся молодежь в массе своей заслуживала такой же оценки. Ошибаются те, кто утверждает, что университеты и высшие женские курсы были до отказа переполнены "буржуазными сынками" и "буржуазными дочками", что эти "сынки" и "дочки" задавали в них тон. Конечно, очень значительное количество студентов и курсисток 90-х и 900-х годов по социальному происхождению принадлежало к буржуазии. Но в университетах, на высших курсах, а иногда еще в средней школе большая часть из них подвергалась процессу быстрой демократизации. За процессом демократизации неизбежно следовал процесс революционизирования. Я совершенно категорически утверждаю, что студенчество последних десятилетий XIX в. и первых десятилетий XX в. было в массе своей и демократически и революционно настроено.

Те симпатии, которые оно неизменно проявляло к Некрасову и которые нашли себе яркое отражение во многих студенческих письмах ко мне, с несомненностью свидетельствовали, что Некрасов привлекал к себе учащуюся молодежь не только как великий художник, но и как революционно-демократический поэт.

Если учащаяся молодежь находила и продолжает находить удовлетворение, занимаясь в некрасовских семинарах, то я, руководя работой этих семинаров, чувствовал и чувствую двойное удовлетворение: удовлетворение от того, что эти занятия посвящены любимому моему поэту, во-первых, и удовлетворение от непосредственного и тесного общения с молодежью - во-вторых. Чем старше я становлюсь, тем сильнее и сильнее сказывается во мне тяга к молодежи. Я вижу в ней ту силу, которая не только догонит нас, стариков, но и одолеет препоны, заставлявшие нас останавливаться, а то и поворачивать вспять. Я люблю повторять замечательные слова старого писателя, ныне несправедливо забытого: "Стыдно было бы новому поколению не стать выше вас, поколения уже преходящего, потому выше, что оно старше нас, после нас явилось продолжать, что мы начинали" (Н. А. Полевой).

В 1917 г. целый ряд работ некрасовского семинара Н. К. Пиксанова был закончен и, естественно, возник вопрос о печатном использовании, хотя бы некоторых из них. Я в то время принимал участие в делах доживавшего свой век книгоиздательства "Общественная польза", которое мой отец тщетно старался спасти от угрожавшего ему банкротства. Поговорив с отцом, я выяснил, что "Общественная польза" могла бы издать не слишком большой по размерам "Некрасовский сборник", в который вполне возможно было включить и две-три работы участников семинара.

Когда я сообщил об этой возможности Николаю Кириаковичу, он отнесся к ней очень сочувственно и обещал свое полнейшее содействие. Решено было, что сборник выйдет под нашей общей редакцией к концу 1917 г., т. е. к сорокалетию смерти Некрасова.

Февральская революция и сопровождавшие ее события создали, однако, такую обстановку, при которой и выход сборника очень запоздал, и качественная сторона его несколько пострадала.

Я дал для сборника две статьи "Революционная стихия в творчестве Некрасова" и "Некрасов и братья-писатели".²¹

Первая из них представляла посильный отклик на долгожданную и страстно желанную революционную грозу. В первый раз я получил возможность свести воедино накопившиеся у меня за долгие годы работы данные о революционных элементах поэзии Некрасова. Сделанный мною в этой статье подбор цитат и ссылок, биографических и иных данных в подтверждение революционного демократизма Некрасова приобрел в настоящее время широкие права гражданства в том смысле, что им пользуются решительно все, пишущие об идейном содержании поэзии Некрасова.

Я писал эту статью спешно, сильно схематизируя изложение, но испытывал в то же время большое удовлетворение, что вот впервые в своей жизни пишу, не оглядываясь на цензуру. Приятно было также раз навсегда проститься с псевдонимом или вернее присоединить его к моей фамилии. Псевдоним "Евгеньев", присоединенный к фамилии "Максимов" дал мое теперешнее литературное имя - Евгеньев-Максимов.²²

Вторая моя статья, "Некрасов и братья-писатели", была целиком основана на результатах моей длительной работы по изучению относящихся к Некрасову архивных материалов Литературного фонда (Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым). В этой статье мне удалось сгруппировать немалое количество документов, свидетельствующих о том, что Некрасов в роли члена Комитета Литературного фонда много потрудился для оказания материальной помощи голодающим и холодающим представителям литературного пролетариата.

Кроме названных статей, я включил в состав "Некрасовского сборника" ряд материалов, а именно писем Некрасова, писем к Некрасову, воспоминаний о Некрасове. Однако комментировать эти материалы, снабдить их соответствующей научной аппаратурой я уже не смог. Не смог потому, что напоенная революционным электричеством атмосфера 1917 г. не оставляла для этого ни достаточного времени, ни должного душевного спокойствия.

Около половины сборника заняли работы участников семинара Н. К. Пиксанова. Все эти работы - и работа Тер-Микельян "Библиография воспоминаний о Некрасове", и работа В. Дерновой "Библиография и хронология сочинений Некрасова", и работа А. Гובה "Библиография и хронология писем Некрасова" - носят чисто библиографический характер. Это, конечно, никоим образом не снижает их значения. Скорее наоборот, увеличивает его, ибо отсутствие библиографических работ по Некрасову в течение долгого времени служило серьезным тормозом к изучению литературного наследия поэта.

К сожалению, названные библиографические работы не свободны от некоторого количества ошибок. Этим ошибкам возможно было избежать, если бы работа над сборником протекала в более нормальных условиях.

А условия становились все более и более трудными. К лишениям материального порядка, грозившим ужасами полуголодного существования, присоединилась непрерывная душевная тревога. Она проистекала от неумения разобраться в хаосе бурных политических событий и от незнания, за какое практическое дело следует взяться. Путь политической борьбы - важнейший из путей того времени - был для меня непривычен; кроме того, мои политические симпатии и антипатии не установились. Прогрессировавшая разруха лишала, с другой стороны, возможности вести серьезную научно-литературную работу, так как печататься все равно было негде, а писать впрок не позволяла необходимость обеспечить прожиточный минимум для семьи.

В конце концов я пришел к выводу, что наиболее полезным в данный момент могу быть на культурно-просветительном поприще. Практически это значило, что я принял деятельное участие в преобразовании того учебного заведения, в котором работал с 1908 г. (Первое реальное училище), в школу нового типа, в школу советскую, а также отдался лекционной работе в бесчисленных клубах того времени.

Лекционная работа вскоре настолько увлекла меня, что стала на некоторое время главным интересом моей жизни. Нести просвещение в рабочие массы, в те самые массы, которые только что опрокинули гнилое здание старого порядка и с великими усилиями, в кровавой борьбе, в упорном труде, в нечеловеческих лишениях прокладывали себе дорогу к новой жизни, - какая задача могла быть почетнее этой задачи? Она тем более меня привлекала, что я имел твердое намерение в программу своих лекционных выступлений ввести и лекции по Некрасову, которого, как я знал, рабочие массы так ценили и любили.

Вскоре я завязал тесные сношения с Политпросветом и стал деятельным работником лекторского бюро. Служащие Политпросвета - спасибо им!-- учитывали мою тягу к Некрасову и нередко снабжали меня нарядами на прочтение лекций именно о Некрасове.

И вот началась моя лекционная страда, захватившая целые полтора года (весь 1918 год и первую половину 1919 г.).

Незабываемое время! С внешней стороны жилось безобразно плохо. Еда - суп из селедочных головок и знаменитая "пшенка" под гостеприимным кровом столовой Лиги Равноправия женщин, что на углу набережной Невы и 8-й линии (Васильевского острова). Обтрепанное пальтишко, брюки с бахромой, ботинки без подошв, пропускающие воду даже при самом легком дожде. И тем не менее все существо переполняет чувство какого-то непередаваемого энтузиазма. Кажется, вот-вот у тебя вырастут крылья, взмахнешь ими и улетишь куда-то в поднебесную высь и ширь. Источник этого чувства - в сознании, что с проклятым прошлым покончено навек, что оно никогда, никогда не вернется, что и твой народ и тебя, ничтожный атом в многомиллионном коллективе, ждет светозарное будущее, а также в

огромном удовлетворении от работы, которая давала самое ценное, что есть в жизни, - ощущение слияния с массами.

Взглянешь на наряды, выданные лекторским бюро. "Сегодня у меня две лекции: одна у Московской заставы в 6 час, другая на Выборгской стороне в 9 час. Не близкий путь! Хорошо если дадут грузовую машину, а то ведь на своих на двоих придется поспевать...". И бежишь с Московской заставы на Выборгскую сторону, бежишь в весеннюю распутицу, когда в сапогах буквально вода хлюпает, бежишь в осеннюю непогоду, бежишь в зимние морозы. Бежишь и знаешь, придется тебе читать в одном из бесчисленных рабочих клубов; придут в обширное, но нетопленное, дышащее то сыростью, то стужей помещение несколько сот питерских рабочих - такие же полуголодные бедняки, как и ты сам; придут не потому, что обязаны прийти, придут по собственному почину, придут, интересуясь великой русской литературой. И как слушать будут - словечка не проронят! А кончишь читать - на целую тучу вопросов-записочек отвечать придется. И каких записочек?! Подчас коряво, с орфографическими ошибками написанных, но в большинстве своем удивительно содержательных, выявляющих на редкость глубокое понимание предмета. После лекции, по русскому обычаю, "чайком угостят". Что за беда, что в "чайке" ни одной чайнки отродясь не плавало, что за беда, что вместо сахара дается таблетка сахарина, что за беда, что предложенный тебе кусочек кисловатого черного хлеба не в коровий, а в куриный носочек?! Ведь понимаешь, прекрасно понимаешь, что угощают тебя не от избытка, а от бедности, и невольно вспоминаешь некрасовские слова о том, что "иная гривна медная" бывает подчас "дороже ста рублей".

Меня считают не плохим лектором, и, действительно, нередко я сам наблюдаю, что мне удается захватить аудиторию. Но никогда, насколько могу судить, я не читал так хорошо, как в 1918--1919 гг.

Успеху моих лекций, в частности лекций о Некрасове, в значительной степени способствовала моя воспитанница - Катя Семенова. Эта исключительно способная крестьянская девочка, прожившая у меня в доме целых восемь лет, не переставала изумлять и радовать меня своими выдающимися способностями. За что ни возьмется - все ей давалось шутя: гимназическое учение, и иностранные языки, и музыка, и пишущая машинка.

Не без моего, быть может, влияния Катя страстно полюбила стихи и превосходно читала их. Особенно ей удавалось чтение некрасовских стихов. Никогда я не слышал, да, вероятно, и не услышу лучшего исполнения предсмертной поэмы Некрасова "Мать", чем исполняла ее Катя.

Однажды мне пришла в голову благая мысль использовать Катю как художественную иллюстраторшу моих лекций. Катя охотно согласилась: ее юному самолюбию льстило сознание, что она будет выступать публично, как "настоящая артистка".

Успех превзошел мои ожидания.

Наполненный до отказа зал, сотни внимательных глаз.

Охарактеризовав детство Некрасова, я обращаюсь к аудитории и говорю: "А теперь Катя Семенова прочтет вам стихотворение "Мать"".

Выходит Катя. Ей уже 15 лет, но она мала ростом и производит впечатление десяти-одиннадцатилетней девчурки. Зал не может скрыть своего удивления: "зачем понадобилась эта малютка; какого чтения, кроме ученического, можно от нее ожидать...".

И вдруг эта "малютка" начинает грудным, выразительным, слегка вибрирующим от волнения голосом:

В насмешливом и дерзком нашем веке
Великое, святое слово "мать"
Не пробуждает чувства в человеке,

Но я привык обычай презирать,
Я не люблю насмешливости модной,
Такую музу мне дала судьба:
Она поет по прихоти свободной
Или молчит, как гордая раба.

Я вижу по выражению глаз слушателей, что они покорены и захвачены. Чувствует это и Катя. Ее голос с каждой строфой крепнет, приобретает все большую гибкость, все большую выразительность. Особенно сильное впечатление производит в ее чтении письмо гордой польской аристократки к своей ослушной дочери.

А когда Катя, взволнованная, раскрасневшаяся, читает знаменитые строки, в которых поэт говорит о чудодейственном влиянии материнской любви и материнского примера:

И если я легко стряхнул с годами
С души моей тлетворные следы
Поправшей все разумное ногами
Гордившейся невежеством среды,
И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
И носит песнь, слагаемая мною,
Живой любви глубокие черты -
О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты! -

зал вскакивает, как наэлектризованный, и оглушительными рукоплесканиями приветствует маленькую чтицу.

"Мала птичка, да коготок востер", - сказал мне про Катю один седобородый Путиловец.

Если лекции, о которых я говорю, проходили с успехом и, несомненно, приносили свою долю пользы слушателям, то и для меня, для моего развития они сыграли колоссальную роль. Благодаря им я впервые²³ более или менее близко соприкоснулся с рабочей массой, более или менее узнал ее. А узнав, - не мог не полюбить, не мог не проникнуться убеждением, что в условиях русской жизни нашего времени рабочий класс является самым передовым и вполне заслуживает имени "авангарда революции".

XV

К лету 1919 г. семья моя настолько изголодалась, а я сам в такой мере был измотан непосильной работой, что нужно было принимать какие-то экстренные меры. К тому же и лекционный сезон, - а зарплата за лекции составляла основную часть моего бюджета, - закончился.

После некоторых колебаний я принял предложение Отдела народного образования взять на себя заведование одной из детских колоний, учрежденных в окрестностях Петербурга.

Около семидесяти колонистов и колонисток, в число которых вошли оба мои сынишки, с несколькими воспитателями и воспитательницами были направлены в Любань.

Началась крайне напряженная работа, поглощавшая все мое время без остатка, сначала по устройству временной "летней колонии", затем по преобразованию ее в постоянную "зимнюю колонию" - в новом помещении и на новых основаниях.

Когда организационный период был закончен, выяснилось, что при существовавших тогда условиях обслужить колонию и дровами, и продуктами, и учебными пособиями, и, наконец, персоналом - задача исключительной трудности.

Два с лишним года, с лета 1919 г. по осень 1921 г., я отдавал все свои силы и энергию разрешению этой задачи.

О продолжении научно-литературной работы, в частности о занятиях по Некрасову, вообще говоря, и думать было нечего. Только однажды за все это время я урвал, буквально урвал две-три недели, чтобы исполнить просьбу К. И. Чуковского и написать биографический очерк к редактировавшемуся им "Собранию стихотворений Некрасова" 1920 г. Эта моя работа, выполненная не столько в плане научном, сколько в плане популярном, не заслуживает особого внимания, а о самом издании 1920 г. следует сказать несколько слов.

Подготавливалось оно спешно; напечатано, как и большинство книг той эпохи, неряшливо, с ошибками и опечатками; отличается значительной неполнотой и отсутствием сколько-нибудь удовлетворительных комментариев.

Вот те основания, по которым многие "судьи решительные и строгие" (например, М. К. Лемке)²⁴ готовы были вынести и, действительно, выносили этому изданию беспрецедентно обвинительный приговор.

Я ни в каком отношении не несу ответственности за недостатки этого издания, а потому мой голос отнюдь не является голосом заинтересованной стороны. И вот, положив руку на сердце, должен сказать, что никогда не мог согласиться с подобным рода судом. Было бы смешно отрицать недостатки издания 1920 г., они только что указаны мною, - но с другой стороны, лишь при нарочито пристрастном отношении можно замалчивать его достоинства.

Благодаря изданию 1920 г. русский массовый читатель узнал подлинный, не искаженный цензурой, поэтический лик Некрасова, так как К. И. Чуковский ввел в текст издания весь материал, который не входил в дореволюционные издания, частью по цензурной невозможности, частью в угоду цензуре.



market.yandex.ru

РЕКЛАМА

Термопаста Arctic MX-4 4 грамма Spatula ACTCP00031B

Затем, издание 1920 г. было многотиражным изданием, а это дало возможность запастись им не только школам и учреждениям культурно-просветительного типа, но и частным

лицам, т. е. в конечном результате способствовало популяризации "музы мести и печали", широчайшему проникновению ее в массы.

И если с точки зрения сухого академизма издание 1920 г. действительно не выдерживает критики, то с точки зрения культурно-просветительной его нельзя было не приветствовать.

Как я уже сказал, административно-педагогическая работа в Любанской детской колонии оторвала меня от занятий Некрасовым на целых два года. Я подчас жалел об этом, но не мог в то же время не сознавать, что иного выхода, чем "любанское заточение", для меня не было: ведь дело шло не более не менее, как о спасении жизни семьи.

Тем не менее осенью 1921 г., в связи с приближающимся 100-летием рождения Некрасова, я почувствовал, что долее сидеть в Любани не в силах.

Первым делом я явился в Петербургский отдел народного образования, чтобы выяснить, как он собирается реагировать на некрасовскую годовщину. Там меня встретили буквально с распростертыми объятиями.

"Вас-то нам и надо! Сколько раз мы посылали на Вашу квартиру, но увы, Вас там не было. Есть ли у Вас план празднования некрасовского юбилея?"

Плана у меня не было, но я обещался составить его в кратчайший срок и сдержал свое обещание.

План этот тотчас же был рассмотрен и утвержден Наробразом, а мне было предложено взять председательство в особо учрежденной Политпросветской комиссии, на которую была возложена детализация плана и проведение его в жизнь. В состав комиссии были введены Э. В. Краснуха, Н. В. Яковлев и Т. Н. Черепнина.

Здесь не место излагать в подробности то, что было сделано комиссией в эти горячие дни конца 1921 г. и начала 1922 г., не место, прежде всего, потому, что я уже имел случай подвести некоторые печатные итоги нашей работе.²⁵ Однако, охарактеризовать общее направление деятельности комиссии и крупнейшие из осуществленных ею начинаний не будет излишним.

Основная цель работ комиссии состояла в том, чтобы "пустить Некрасова в массы". Для достижения этой цели комиссия озаботилась, во-первых, изданием соответствующей многотиражной литературы; во-вторых, инструктажем тех учреждений, которые были привлечены к непосредственному участию в проведении Некрасовской кампании; в-третьих, подготовкой кадров достаточно квалифицированных работников по осуществлению различных мероприятий, связанных с этой кампанией; в-четвертых, устройством большой Некрасовской выставки и, наконец, в-пятых, организация самого чествования поэта в юбилейные дни.

По части издания литературы удалось сговориться с Ленгизом, который согласился новым тиражом выпустить издание стихотворений Некрасова 1920 г., а также издать целый ряд брошюр, из которых две были составлены мною: одна, совсем маленькая, предназначенная для широких масс, -- "Жизнь и поэзия Некрасова",²⁶ другая, значительно больше, -- "Некрасов".²⁷ В нее вошли характеристика жизни, творчества, революционных мотивов и поэзии Некрасова, примерные программы, посвященных Некрасову утр и вечеров, а также текст избранных произведений Некрасова. Кроме того, Ленгиз выпустил под моей редакцией "Некрасовский альбом" с богатым иконографическим и иллюстративным материалом²⁸ и "Памятку" о Некрасове, т. е. небольшой сборничек статей о поэте.²⁹

Едва ли не самым ценным изданием Ленгиза явился юбилейный номер журнала "Книга и революция" (№ 2/14, 1921), фактическим редактором которого был также я. Он был довольно велик по размерам и интересен по содержанию. Сравнительно высокий уровень "Памятки" и особенно юбилейного номера "Книги и революции" был обусловлен тем, что мне удалось привлечь к сотрудничеству в них крупные литературные силы. Из "маститых" в них приняли

участие А. Ф. Кони, И. И. Ясинский, Л. Г. Дейч; из литературоведов, кроме меня и Чуковского, В. Ф. Боцяновский, Н. В. Яковлев, А. Л. Слонимский, П. Н. Столпянский, И. А. Оксенов, А. Л. Липовский, Г. Альмединген; из артистов - П. П. Гайдебуров; из искусствоведов - Игорь Глебов (Б. В. Асафьев, - Т. Ц.) и Э. Ф. Голлербах и т. д.

Хотя в списке сотрудников и не числился ответственный редактор "Книги и революции" Константин Александрович Федин, но дружеское содействие его чувствовалось мною постоянно. В те дни я имел случай узнать и оценить этого превосходного человека, исключительно талантливого, европейски образованного, а в то же время на редкость скромного, доступного и простого...

Большое значение комиссия по проведению Некрасовской годовщины придавала инструктажу соответствующих учреждений. Работая в недрах Политпросвета, комиссия сравнительно легко и на широких началах смогла осуществить инструктаж всей сети политпросветских учреждений, начиная от библиотек, продолжая домами просвещения и клубами и т. д. Что касается соцвос,³⁰ к которому комиссия обратилась за содействием, то и он охотно пошел ей навстречу. Вскоре в "некрасовскую кампанию" оказались втянутыми сотни петербургских, а отчасти и провинциальных школ: и они получили от комиссии подробную инструкцию о том, что делать, как делать, когда делать и т. д.

В результате вся почти культурно-просветительная и школьная общественность нашего города приняла участие в проведении "некрасовских дней". Число лекций о Некрасове, экскурсий на Некрасовскую выставку исчислялось сотнями; число книжных и школьных выставок было немногим меньше.

Предвидя широкий размах некрасовского чествования, комиссия пришла к мысли об организации трех семинаров по Некрасову, участники которых получили бы некоторую некрасоведческую квалификацию, т. е. могли бы, если понадобится, прочесть лекцию, провести беседу или экскурсию по Некрасову, устроить Некрасовскую выставку, или Некрасовский уголок. Начинание это оказалось весьма жизненным, и все три семинара, функционировавшие в период с сентября по декабрь 1921 г., привлекли довольно значительное количество участников, главным образом из рядов педагогов, политпросветских работников и вузовского студенчества. Успеху семинаров не в малой степени способствовал и состав лекторов. Нам посчастливилось завербовать в лекторы двоих академиков - Кони и Н. А. Котляревского, а также К. И. Чуковского. Академик Кони выступал с личными воспоминаниями о Некрасове и его современниках, академик Котляревский - с лекцией об историческом значении поэзии Некрасова, К. И. Чуковский - с лекциями о художественном мастерстве Некрасова и личности поэта. Известный библиограф А. Г. Фомин знакомил участников семинара с библиографией по Некрасову. Сестра А. Ф. Кони А. Ф. Грамматчикова с присущим ей талантом вела занятия по выразительному чтению. Мне пришлось взять на себя основной курс "Жизнь и деятельность Некрасова".

Четвертым важным мероприятием комиссии явилось устройство совместно с Пушкинским Домом Академии наук большой Некрасовской выставки, которая вобрала в себя массу и книжного, и рукописного, и иллюстративного, и иконографического материала. Это, бесспорно, лучшая из когда-либо существовавших Некрасовских выставок. Над устройством ее, кроме нас, членов комиссии, немало потрудились работники Пушкинского Дома - Б. Л. Модзалевский и М. Д. Беляев.

Теперь перехожу собственно к некрасовским дням, под которыми разумею 4, 5 и 6 декабря 1921 г.

Первый из этих дней ознаменовался постановкой составленного П. П. Гайдебуровым сценария "Зеленый шум".

Небольшой, уютный зал мастерской Передвижного театра. Ни в убранстве, ни в обстановке ничего кричащего, мишурно-роскошного, бьющего на эффект... Все места заняты. Среди присутствующих - представители государственных учреждений, несколько литераторов,

много ответственных работников Губнаробраза, целый ряд выдающихся представителей педагогического мира, учащиеся, работники и работницы. В 2 1/2 часа поднимается занавес...

Автор сценария "Зеленого шума" - П. П. Гайдебуров - несомненно имел в виду выявить две наиболее характерные стихии Некрасовской поэзии - интеллигентскую и народную.

Первое отделение воспроизводит типично интеллигентскую вечеринку. Собравшиеся, преимущественно молодежь, говорят и спорят о Некрасове, декламируют его стихи, поют их хором и соло. В результате этих разговоров, споров, декламации, пения, музыки Некрасов обрисовывается теми сторонами своей души, которые особенно близки интеллигентской России, - Некрасов с его народолюбием ("Мороз, Красный нос", "Несжатая полоса", "В полном разгаре страда деревенская"), с его революционной настроенностью ("Я сбросила мертвящие оковы"), с его покаянными воплями ("Неизвестному другу"), Некрасов с его общеинтеллигентской скорбью о роковом противоречии слова и дела, нашедшему столь яркое выражение в словах "Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано" ("Рыцарь на час").

Из артистов, выступавших в первом отделении, наиболее сильное впечатление произвели П. П. Гайдебуров (читал "Рыцаря на час"), З. А. Топоркова ("Что думает старуха, когда ей не спится"), В. Н. Беседова ("Несжатая полоса") и А. С. Белогорский ("Неизвестному другу"). Хорошо пела В. И. Павловская-Боровик и прекрасно вел свою роль С. И. Клеманский ("Слово о Некрасове").

Не в меньшей мере удовлетворило своим заданием и второе отделение. Оно, перенеся зрителей на деревенскую улицу, выявило крестьянскую стихию некрасовского творчества. Перед зрителями прошли и Касьяновна ("В деревне"), и замужняя Катерина ("Вянет, пропадает красота моя"), и Катерина-девушка (из "Коробейников"), и дядюшка Яков, и состарившийся огородник ("Не гулял с кистенем"), и Калистрат ("Надо мной певала матушка"), и оба коробейника: Ванька и Тихоныч, и многие другие некрасовские персонажи.

Во втором отделении выдвинулись в качестве исполнителей К. А. Золотарев, А. Е. Прокофьев и П. Т. Митрофанова.

Несравненно более импозантным характером отличалось общегородское чествование памяти Некрасова вечером 6 декабря.

С 5-ти часов огромный Оперный театр в Народном доме начинает наполняться... Приходят целые группы учащихся различных школ со своими педагогами; многочисленные представители рабочих организаций, красноармейцы. К 7-ми часам и партер и амфитеатр представляют сплошное море голов. В начале 8-го митинг открывает заведующий Губнаробразом т. Н. Н. Кузьмин. По его предложению в президиум избраны академик Н. А. Котляревский и представители литературных и общественных организаций. Председательствует Н. А. Котляревский, секретарствует А. С. Поляков. Завеса, скрывавшая бюст-памятник, падает, и перед зрителями появляются строгие черты "печальника горя народного", изваянные мастерским резцом профессора Академии художеств В. В. Лишева. Председатель возглашает славу почившему поэту и приглашает присутствующих почтить память его вставанием. Весь зал поднимается и, стоя, слушает некрасовскую "Русь" ("Ты и убогая, ты и обильная"), исполняемую хором <А. А.> Архангельского. Настроение торжественное и приподнятое.

Митинговое отделение началось моею речью.

"Душой" Некрасова, - говорил я, - владели преимущественно два чувства: великая любовь и великая ненависть. "Кипящею лавою" проходят они чрез всю его поэзию. Страстно любя одних, поэт не менее страстно ненавидел других. И его любовь и его ненависть имели свои законные, как общественные, так и психологические, основания.

Сегодняшний праздник есть праздник любви, ибо любовь к почившему поэту собрала сюда всех нас, любовью взволнованы были наши сердца, когда мы первые всматривались в черты его лица, так мастерски воспроизведенные на этом бюсте-памятнике, любовь говорила нашими устами, когда мы возглашали ему славу -

Ему, навек уснувшему,
Ему, в земле зарытому,
Страдальцу и печальнику
Земли своей родной.

Вот почему не о тех, кого он ненавидел, может быть, вполне заслуженно, хочется мне говорить сегодня, а о тех, кого он любил.

Больше всего и сильнее всего любил Некрасов русский народ.

Уже в 40-х годах, в начале своей серьезной литературной деятельности, устами героя своего романа "Три страны света" Каютина Некрасов категорически заявляет: "я много люблю русского крестьянина, потому что хорошо его знаю". И этой любви он остался верен в течение всей своей жизни.

В покаянном экстазе, оплакивая свои нравственные падения, свою приверженность к минутным благам жизни, Некрасов в одном не хочет признать себя виновным: от своей любви к народу он не отрекался, ей он не изменял. А если так, то не потеряна и надежда на прощение.

За то, что я, черствея с каждым годом,
Ее умел в душе моей спасти,
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! прости...³¹

В последнее десятилетие жизни Некрасова, в 70-е годы, любовь его к народу, не без влияния, конечно, той общественной атмосферы, которая в это время господствовала, достигает своего апогея.

Народ! Народ! Мне не дано геройства
Служить тебе, плохой я гражданин,
Но жгучее, святое беспокойство
За жребий твой донес я до седин!
Люблю тебя, пою твои страданья...³²

- читаем в стихотворении 1874 г.

Несколько позднее, перед лицом "зовущей, идущей смерти", поэт восклицает:

Верь, что во мне необъятно безмерная
Крылась к народу любовь...³³

Да, "необъятно безмерная", Некрасов доказал это всей своей жизнью и поэзией.

Пламенный народолюбец в стихах, Некрасов был народолюбцем на деле. Это подтверждается многочисленными фактами из его биографии, в частности - отзывами о нем его друзей-крестьян.

Замечательно, что любовь Некрасова к народу не была слепой любовью, которая заставляет в своем объекте видеть одни достоинства и закрывать глаза на недостатки. И алчность отдельных представителей народной среды (Влас, староста Глеб из "Кому на Руси жить хорошо"), и веками выработывавшееся холопство (дворовый Ипат, Яков Верный из той же поэмы), и беспробудное народное пьянство - все эти и еще некоторые другие глубоко отрицательные явления народной жизни подмечены и художественно изображены

Некрасовым. И тем не менее, сопоставляя недостатки с достоинствами, минусы с плюсами, Некрасов ни минуты не сомневался, что вторые перевешивают первые. Народ рисовался Некрасову богатырем и тела и духа. Его выносливость в работе, как бы тяжелы ни были условия ее, его непритязательность в еде и жизненном обиходе, наконец, его историческая, так сказать, живучесть, пред которой оказались бессильны все испытания, посылаемые ему судьбой в течение долгих веков, побудили Некрасова создать такой титанический образ:

Цепями руки кручены,
Железом ноги кованы,
Спина... леса дремучие
Прошли по ней - сломались.
А грудь? Илья-пророк
По ней гремит-катается
На колеснице огненной...
Все терпит богатырь!
И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится...
Ужли не богатырь?³⁴

Если велика и неизбежна, таким образом, физическая мощь русского народа, то не меньше ее и нравственная:

В рабстве спасенное
Сердце свободное -
Золото, золото,
Сердце народное!
Сила народная,
Сила могучая -
Совесть спокойная,
Правда живучая!³⁵

С любовью к народу у Некрасова тесно связана вера в его лучшее будущее. Поэт глубоко убежден в том,

... что ни работою
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь!³⁶

Как бы ни были ужасны невзгоды того или другого исторического момента, не следует "робеть за отчизну любезную", ибо

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную -
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все - и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.³⁷

Великою любовью была также любовь Некрасова к русской интеллигенции. Поэт не замалчивал ее грехов. Кому, как ни ему, принадлежат горькие слова о либерале-идеалисте 40-х годов, который

Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет:

Нынче не знает, что завтра сожнет,
Только наверное сеять пойдет...³⁸

Кто с большим осуждением отзывался о неспособности многих интеллигентов согласовать слово с делом?

Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...³⁹

Однако Некрасов знал и в русском прошлом, и в русской современности другую демократическую интеллигенцию, ту, которая умела не останавливаться перед свершениями, которая претворяла в жизнь свои мечты и верования. Поэзия Некрасова временами превращается в пламенный дифирамб этой интеллигенции.

Героическим ореолом окружает он образы первых русских революционеров - декабристов и их жен.

А лучшие представители поколения 40-х годов, а прежде всего Белинский, в ком, как ни в Некрасове, нашли своего восторженного певца?! Певца, гордившегося честью быть их учеником! -

Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!⁴⁰

А суровые разночинцы-шестидесятники, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, с их неукротимой жаждою ниспровергать авторитеты, ломать гниль и ветошь, в которых коснела русская мысль, с их действенным, революционным порывом, - разве не Некрасов был и выразителем их дум, и искренним их панегиристом?!

Наконец, самоотверженная, вся проникнутая альтруистическими настроениями, молодежь 70-х годов в пламенных стихах воспета была Некрасовым. Ему же выпала на долю грустная миссия оплакивать ее неудачи и поражения в борьбе с грузным колоссом самодержавия ("Смолкли честные, доблестно павшие").

Две великих любви Некрасова - к народу и к интеллигенции --- вызвали неодинаковое отношение к себе со стороны тех, к кому относились. Любовь к народу была любовью неразделенною, ибо Некрасов, конечно, был прав, когда писал: "песнь моя... до народа не дошла",⁴¹ "я настолько же чуждым народу умираю, как жить начинал...".⁴² В любви к себе интеллигенции Некрасов с его болезненной скромностью и склонностью к самоуничтожению временами сильно сомневался. Но в годы его болезни и умирания интеллигенция, в лице как раз той ее части, мнение которой особенно ценил Некрасов, дала ему такие яркие доказательства (адреса студентов, письмо Чернышевского и проч.) своей любви к нему, что поэт сходил в могилу с радостным убеждением в прочности тех связей, которые установились "меж ним и честными сердцами".⁴³

Около полувека прошло со дня смерти Некрасова и целый век со дня рождения. Нынешние некрасовские дни всколыхнули весь трудящийся Петербург. Впечатления от работы в Комиссии по организации Некрасовских празднеств, с одной стороны, состав настоящего многолюдного собрания, где, наряду с представителями государственной власти, науки, литературы, искусства, педагогического мира, учащейся молодежи, мы видим и подлинных представителей народа - рабочих, крестьян, красноармейцев, убеждают меня как в том, что интеллигенция не разучилась любить Некрасова, так и в том, что народ научился его любить. Если еще не наступило то время, о котором в предсмертной тоске мечтал Некрасов, время, когда "его песенка зазвучит над Волгой, над Окой, над Камой", то оно очень и очень приблизилось. По крайней мере, над Невою песенка Некрасова звучит и звучит громко. И под звуки ее да будет позволено мне от лица собравшихся здесь представителей народа и интеллигенции провозгласить вечную славу великому народному поэту Н. А. Некрасову!".

Я позволил себе, может быть, гораздо подробнее, чем следовало, изложить содержание своей речи потому, что она являлась для меня декларацией тех взглядов на социальный смысл поэзии Некрасова, к которым я пришел после двадцатилетнего ее изучения и которым я остался верен и по сию пору. Публика, переполнявшая театр, устроила мне такую овацию, что я растерялся и истуканом стоял на сцене, не зная, что делать.

"Да, кланяйтесь же! Ведь это Вам хлопают", - смеясь крикнул мне Нестор Александрович Котляревский.

6 декабря днем состоялось торжественное открытие Некрасовской выставки. Председательствовал тот же академик Котляревский, а гвоздем открытия было выступление К. И. Чуковского, который прочел интересные выдержки из своей только что вышедшей брошюры "Некрасов как художник". Выдержки эти касались особенностей поэтического языка и стиля Некрасова, его стихотворной техники и обнаружили в авторе не только вдумчивое и серьезное отношение к темам его исследования, но и способность к смелым и новым построениям.

Наконец, 6-го же декабря вечером отмечал столетие со дня рождения Некрасова Литовский Народный дом, только что переименованный в Дом просвещения имени Некрасова. Сначала состоялся митинг, на котором пришлось выступать и мне, а затем артистами Литовского театра была разыграна мелодрама Некрасова "Материнское благословение".

Таким образом, в чествовании Некрасова приняли участие только два сравнительно небольших театра. Что же касается академических театров, в том числе и Александрийского, на котором когда-то с таким успехом шли водевили Некрасова-Перепельского, то все наши попытки раскачать их и заставить принять хоть какое-либо участие в некрасовских днях оказались совершенно безуспешными.

До сих пор не понимаю, что здесь сыграло решающую роль - бюрократическая ли рутина, которую славилась тогдашние академические театры, или нежелание путаться с нами, "политпросветчиками"? Нельзя отрицать, что некоторая часть тогдашней буржуазной интеллигенции чуждалась "политпросветчиков", прежде всего потому, что не сочувствовала направлению их работы.

Поскольку я честно и безотговорочно примкнул к "политпросветчикам", мне очень скоро пришлось ощутить в отношении себя некий холодок, веявший со стороны буржуазно-интеллигентских кругов.

Помню, как после моего выступления на митинге в Народном доме ко мне подошла одна небезызвестная литературоведка и буквально прошипела по моему адресу: "Не удержались таки: в угоду своим "большевикам" ругнули русскую интеллигенцию". А я в своей речи лишь подчеркнул, что отношение Некрасова к дворянским либералам было отрицательное, в то время как демократическую интеллигенцию он ставил очень высоко.

Еще пример. В Петербурге в то время существовали два журнала - "Летопись Дома литераторов" и "Литературный вестник", - тесно связанные с буржуазно-интеллигентскими кругами. Будучи заинтересован в том, чтобы и они откликнулись на некрасовские дни, я счел необходимым побывать в их редакциях, но встретил в них не слишком любезный прием.

В редакции "Летописи Дома литераторов" мне прямо сказали: "В Ваших напоминаниях не нуждаемся. Откликнемся, как сочтем нужным по-своему, а не по-вашему - политпросветскому".

В редакции "Вестника литературы" ответ был более дипломатичен: "Как же, как же! Мы имеем в виду приближающуюся годовщину. Запасли кой-какой материал. Может быть, и Вы что-нибудь дадите?..".

Последнее предложение было сделано со столь кислым видом, что я, не задумываясь, отклонил его.

Отголоском пренебрежительного отношения к "политпросветчику" явилось и соболезнование, высказанное мне в лицо одним видным литератором: "Вы подавали надежды стать настоящим научным работником, а теперь в популяризаторскую деятельность ударились, под политпросветским знаменем выступаете". Сказано это было с определенной целью уязвить меня, но уязвленным я все же себя не почувствовал, не почувствовал, отчасти потому, что два начинания, осуществленные мною в том же 1922 г., - создание Некрасовского музея и Некрасовского общества, имели не только популяризаторское, но и научное значение, а главным образом потому, что в годы, когда власть перешла в руки крестьян и рабочих, приблизить к массам такого поэта, каким был Некрасов, являлось, с моей точки зрения, делом первой необходимости. Я это сознавал и в этом направлении работал, не покладая рук.

В этом же направлении работали и члены той политпросветской комиссии, которую я возглавлял. Мне всегда не хватало того, что называют "административным талантом", и это весьма ощутительно могло сказаться на деятельности комиссии. Однако двое из членов ее - Николай Васильевич Яковлев, пользующийся в наше время известностью как выдающийся исследователь Щедрина, и Татьяна Николаевна Черепнина - были людьми с ярко выраженной административной жилкой. Они поспевали всюду, где нужно было распорядиться, приказать, нажать. Николай Васильевич, кроме того, являлся непревзойденным мастером по части добывания кредитов. Благодаря его неусыпной и неутомимой деятельности комиссия наша и финансируемые ею мероприятия всегда были обеспечены в денежном отношении.

Эмма Васильевна Краснуха, старая партийная деятельница, играла в нашей комиссии роль "мужа разума и совета". Ее веское, рассудительное слово, ее связи с ответственными кругами не раз выводили нас из затруднений.

Может быть, я несколько увлекся, уделив так много внимания "некрасовским дням" 1921 г. Некоторым оправданием мне может однако служить то обстоятельство, что это был первый большой литературный юбилей, отпразднованный такой еще молодой по возрасту советской общественностью в теснейшем единении с органами не менее молодой советской власти. В этом - несомненное историческое и историко-политическое значение "некрасовских дней". Я горжусь тем, что мне удалось принять в их проведении деятельное участие.

Примечания

¹ Начало публикации см.: Некрасовский сборник, вып. VII. Л., 1980, с. 200--233.

² Евгеньев В. Николай Алексеевич Некрасов. Сборник статей и материалов. М., 1914.

³ См.: Некрасовский сборник, вып. VII, с. 208.

⁴ Б. Л. Модзалевский умер 3 апреля 1928 г.

⁵ О встречах с Щ. Н. Некрасовой В. Е. Евгеньев-Максимов рассказал в своих статьях того времени: "З. Н. Некрасова" (Жизнь для всех, 1915, No 2, с. 325--340), "У З. Н. Некрасовой" (Солнце России, 1915, No 5, с. 1--3) и "З. Н. Некрасова" (День, 1915, No 27, с. 4).

⁶ Самарянин - милосердный человек.

⁷ Архангельский Н. З. Н. Некрасова. - Саратовский вестник, 1915, 27 января, No 21.

⁸ Евгеньев В. На родине Н. Г. Чернышевского. (К 25-летию со дня смерти писателя). - Речь, 1914, 17 октября, No 280; Современное слово, 1914, 17 октября, No 2429.

⁹ Чернышевский Мих. Могила Н. Г. Чернышевского. - День, 1914, 6 ноября, No 302.

¹⁰ Перечислены районы, где в 1914--1915 гг. развертывались наиболее значительные военные операции. Августовские леса - леса между городами Августовом и Гродно.

¹¹ Цитата из поэмы Некрасова "Тишина".

¹² Цитата из стихотворения Некрасова "Душно! без счастья и воли".

¹³ Цитата из стихотворения Некрасова "Страшный год" (1870).

¹⁴ Литейный проспект назывался проспектом Володарского с ноября 1918 по январь 1944 г. Бассейная улица была переименована в улицу Некрасова в 1922 г.

¹⁵ Панаев Ип. О Некрасове. (По поводу воспоминаний Н. Успенского). - Новое время, 1889, 48 января, No 4630.

¹⁶ Павловск с 1918 по 1944 г. назывался Слуцком.

¹⁷ Цитата из стихотворения Некрасова "Что ты, сердце мое, расхотелось...?".

¹⁸ Младших богах (*лат.*).

¹⁹ Таково было прозвище Судейкина. (*Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова*).

²⁰ Об этом эпизоде своей студенческой жизни В. Е. Евгеньев-Максимов рассказал в III главе своих "Записок некрасововеда" - "Из прошлых лет" (Звезда. 1941, No 4, с. 165-167).

²¹ Некрасовский сборник. Неизданные письма и воспоминания, статьи, библиография. Пг., изд-во "Общественная польза", 1918.

²² Упоминаю об этом, так как до самого последнего времени мне иногда приходится отвечать на вопрос: "Какова же наконец, Ваша фамилия - Евгеньев или Максимов"? (*Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова*).

²³ Я не совсем точен, употребляя выражение "впервые". Лекции для рабочих я начал читать еще в 1907 г., но они очень быстро были запрещены с. -петербургским градоначальником. (*Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова*).

²⁴ Вероятно, речь идет о рецензии на издание "Стихотворений" Н. А. Некрасова, опубликованной в журнале "Книга и революция" (1920, No 4, с. 33--34; подпись: "А."). Это указание Евгеньева-Максимова на критический отзыв М. К. Лемке, а также стиль и тон самой рецензии, характер замечаний к изданию, высказанных в ней, обнаруживающий в авторе эрудицию, превосходное знание некрасовской эпохи и текстологии, наряду с тем фактом, что в эти годы Лемке был одним из основных рецензентов по разделам "Беллетристика" и "История русской литературы" в журнале "Книга и революция", позволяют публикатору атрибутировать Лемке эту рецензию.

²⁵ См., например, "Некрасов. Памятка ко дню столетия рождения" (Пб., 1921, 1--35).

²⁶ Евгеньев-Максимов В. Жизнь и поэзия Н. А. Некрасова. Пг., 1921.

²⁷ Евгеньев-Максимов В. Некрасов. Пб., 1921.

²⁸ Некрасовский альбом. Пб., 1921.

²⁹ Некрасов. Памятка ко дню столетия рождения. Пб., 1921.

³⁰ Подотдел социального воспитания Отдела народного образования.

³¹ Цитата из стихотворения Некрасова "Умру я скоро...".

- ³² Цитата из стихотворения Некрасова "Уныние".
- ³³ Цитата из стихотворения Некрасова "Угомонись, моя Муза задорная...".
- ³⁴ Цитата из поэмы "Кому на Руси жить хорошо".
- ³⁵ Цитата из поэмы "Кому на Руси жить хорошо".
- ³⁶ Цитата из поэмы "Кому на Руси жить хорошо".
- ³⁷ Цитата из стихотворения Некрасова "Железная дорога".
- ³⁸ Цитата из поэмы Некрасова "Саша".
- ³⁹ Цитата из стихотворения Некрасова "Рыцарь на час".
- ⁴⁰ Цитата из "Медвежьей охоты" Некрасова.
- ⁴¹ Цитата из стихотворения Некрасова "Умру я скоро. Жалкое наследство...".
- ⁴² Цитата из стихотворения Некрасова "Скоро стану добычею тления...".
- ⁴³ Искраженная цитата из некрасовского стихотворения "О муза? я у двери гроба!...".

На этом машинопись книги "Из прошлого. Записки некрасововеда" обрывается. Сохранился план второй части книги, написанный, вероятно, до окончания работы над первой частью, что ясно из несовпадения нумерации глав. Приводим его.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XII. Революция. Моя брошюра "Некрасов - певец русской революции".

Посвященный Некрасову сборник издательства "Общественная польза".

Совместная с Н. К. Пиксановым работа над его составлением.

Сорокалетие смерти Некрасова.

XIII. К. И. Чуковский редактирует первое советское издание стихов Некрасова. (1920 г.).
Мое участие в этом издании.

Празднование столетия рождения Некрасова в Петербурге (1921 г.).

Популяризация Некрасова в массах.

XIV. Организация Некрасовского музея. Приобретение для него значительной части петербургского архива Некрасова. Распределение заказов на картины-иллюстрации к произведениям Некрасова среди петербургских художников. Б. М. Кустодиев как иллюстратор Некрасова.

Славная история и горестная судьба Некрасовского музея.

XV. Организация научно-исследовательского "Некрасовского общества", академики А. Ф. Кони и Н. А. Котляревский, К. И. Чуковский и я в качестве его руководящих участников.

История и судьба Общества.

XVI. Мои курсы и семинары по Некрасову в ленинградских вузах - в Университете, ЛИФЛИ¹ и пединститутах. Отношение к Некрасову учащейся молодежи прежде и теперь.

Моя работа по Некрасову в научно-исследовательских институтах: ИРК,² ИЛИ АН СССР³ и ГАИС⁴ (ГИИС⁵). XVII. Вторая поездка в некрасовские места - Ярославль и Карабиху (1927 г.). Знакомство с племянницами и невесткой поэта Н. П. Некрасовой. Их рассказы о прошлом.

XVIII. Пятидесятилетие смерти Некрасова (1928 г.) и отношение к нему советской общественности. Советские критики и поэты о Некрасове. Мои статьи о нем и третья, посвященная ему книга - "Некрасов как человек, журналист и поэт".

XIX. К. И. Чуковский и я возбуждаем вопрос об издании полного собрания сочинений Некрасова (в стихах и прозе). Госиздат вместо проектированных нами 10 томов, соглашается выпустить только 5 томов...

Находка рукописи романа "Жизнь и похождения Тихона Тросникова".

XX. Третья поездка в некрасовские места. Занятия в ярославском архиве и их результаты.

Четвертая книга о Некрасове - "Некрасов и его современники", 1930 г.

Демьян Бедный открывает "новую" поэму Некрасова ("Светочи"). Переписка с ним об этой поэме.

XXI. Шестидесятилетие смерти Некрасова (1938 г.). Пятая книга о Некрасове - "Некрасов в кругу современников". "Некрасовский альбом", выпущенный под моей редакцией Учпедгизом. XXII. Борьба за передачу Институту литературы АН СССР Некрасовской квартиры. Бюрократы в течение двух лет саботируют постановление Ленсовета.

Участие в редакции Полного собрания сочинений Некрасова. В течение четырех лет не вышло ни одного тома. Попытки активизировать работу редакции.

¹ ЛИФЛИ - Ленинградский институт истории философии и литературы.

² ИРК - Институт речевой культуры.

³ ИЛИ АН СССР - Институт литературы Академии наук СССР, теперь ИРЛИ АН СССР - Институт русской литературы АН СССР.

⁴ ГАИС - Государственная академия искусствознания.

⁵ ГИИС - Государственный институт искусствознания.